

АЛЕКСАНДР НЕСТРУТИН

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

*О книге Любви Ковшовой “Земную жизнь пройдя до половины”**

Вам приходилось видеть, как строят на селе дом?

Нет, не из нынешних материалов-новоделов, где сплошь шлакоблок, пеноблок да сайдинг. Я говорю о доме настоящем, деревянном, — таком, каким согревалось моё деревенское детство.

О, это непростое и неспорое дело!

Одни камни чего стоят — те самые, краеугольные. Могутно-тяжкие, будто литые, — под углы сруба ведь крошащийся известняк не положишь. На эти камни ложатся первые венцы — дубовые, как правило. В наших степных местах дубовую подрубку подводили обычно под окна, а дальше шло в дело всё, что удавалось добыть — местная сосна, вяз, даже верба. Конечно, брёвна шурили, “отбивали” шнуром, протёсывали, но изгибы стволов, неровности всё равно оставались. И только после прикидки на срубe начиналась подгонка “вчистую” — увесистым топориком, который, казалось, сам собой взлёты-вает в тяжёлых руках плотника.

И так — час за часом, день за днём, венец к венцу.

Любовь Ковшова, владеющая многими знаниями и ремёслами, к плотницкому делу, насколько я знаю, отношения не имела. Но свою книгу прозы “Земную жизнь пройдя до половины” она “рубила” по-плотницки основательно и неторопливо.

Мне кажется, повествование Л. Ковшовой не случайно открывает глава “Отец”. Хотя в плане автобиографической хронологии здесь более уместной была бы глава следующая, “Враг мой Минька” — она более “детская”, причём детство и юность героини излагаются достаточно последовательно. А в “Отце” в самом начале лишь маленькая зарисовка из детских времён. Правда, она так сочно написана, что долго ещё стоит перед глазами: “Пыхает керосиновая лампа с закопчённым стеклом, на минуту освещая бревенчатое нутро избы, лохматый серый мох между брёвен, драный бок русской печки, обитую жёстью колоду ручной мельницы, ситцевую занавеску над кроватью, зелёную самогонную бутылку на столе.

Жутковато и страшно интересно.

А в соседней комнате, уронив с головы на стол тяжёлые косы, задушено плачет моя мама, шёпотом повторяя сквозь плач:

— Куда ты меня завёз? Куда ты меня завёз?

И молча курит у низенького окна отец, и несутся за окном сивые космы вьюги...”

* Ковшова Л. П. Земную жизнь пройдя до половины: Повествование в 11 частях. — Саров, 2011.

Правда, здорово?

Впрочем, я отвлекся. Отца героини немало помотало по свету: Орловщина и Смоленщина, Румыния и Подмоскovie, Сибирь и Алтай, Жиздра и Самара, Тула, Киев, Львов, Калуга, Бийск, Москва. И вот он по просьбе дочери, “девятнадцатилетней сумасбродки”, пишет свою биографию. Биография эта, которую можно назвать и героической (сельский парнишка-полусирота выбился в агрономы, воевал, стал красным командиром), и типической (ранен, контужен, отравлен газами, умирал в сыпняке, белые расстреливали, свои сажали), даётся, что называется, без купюр. Но не вся сразу, а с объясняющими многое перебивками-воспоминаниями... автора книги? героини повествования?

Нет, ведёт эту прозу, делает её такой живой, притягательной всё-таки не умудрённый жизнью автор, а постоянно набивающая себе шишки на лбу героиня, — при том, что почти всё повествование ведётся от первого лица о событиях, случившихся в жизни автора.

Героиня повествования Люба — дитя военного времени. А значит — дитя Победы, но вместе с тем — и послевоенной разрухи, и полуголодного выживания, и того, чем сейчас страну пугают вместо чёрта — сталинизма. Не повезло ей? Как бы не так!

С ней — огромная страна, на которую никто в мире не позволит себе, да что там — просто не сможет посмотреть сверху вниз.

С ней — отец, который — в сталинские-то времена! — схватившись врукопашную с пузатым любителем сытой жизни, замполитом МТС Краскиным, говорит в ответ на его угрозы: “Пиши, гад. Я писать не буду. Я тебя без НКВД придавлю, если ещё хоть один трактор за барана пообещаешь”.

А ещё с ней рядом — простая русская баба Галиновна, которая, поймав больничную нянюку на воровстве продуктов из детской кухни, гнала её по коридору с монологом, “где единственно цензурной и самой мягкой была фраза: “Сука подзаборная, мы таких на фронте, как вшей, давили!”

И — “старая ведьма Эсфирь”, врач Эсфирь Наумовна Перельман, тоже фронтовичка, потерявшая мужа и детей, но не совесть и сострадание, в строгой жизни своей не пасовавшая ни перед эпидемиями, ни перед начальством, ни перед так называемыми “жизненными обстоятельствами”.

Именно эти люди — и, конечно, ещё многие и многие, в чём-то похожие на них — дали героине повествования понимание смысла жизни, ощущение великости дела, которому они, такие разные, служили одинаково беззаветно.

Но почему — именно они? Этот вопрос не давал покоя и самой героине повествования.

“Мучаясь и завидуя им, я искала ответ. И, может, только теперь начала понимать, что объединяло Эсфирь Наумовну с Галиновной, да и с моим отцом в придачу. Все они были не обывательской шелупонью, а настоящими людьми, людьми дел и поступков. Они были те самые советские люди, что жили не для себя, а для счастья других, то есть для счастья страны в целом, чего так не хватает нам. Они уходили, и вместе с ними уходила целая эпоха, бушующая, противоречивая, с непомерным разбросом высоты и низости человеческого духа, великая и прекрасная. И нечем было заменить этих страстных, ничем не сгибаемых людей”.

Да, так жили не все.

Более того, были и такие, для которых те же Эсфирь Наумовна и Галиновна были чужими, “сдвинутыми”, не умеющими жить и не дающими жить другим. Они, эти люди, тоже всегда были рядом, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки, — как жестокосердный и подловатый сосед-одноклассник Минька Кудряков, его буйный старший брат Лёнька, да и отец их, “партийный”, завфермой, не забывающий в первую голову радеть о своём подворье дядя Вася Кудряков. Но эти люди, при всей их изворотливости, потаённости, вроде бы прочной укоренённости в обыденной жизни не могли, не должны были победить — Люба это знала точно. И не просто знала...

Вот картинка из времён “разоблачения культа личности”: “Я омывала последний ряд у окна, когда Минька, протиравший на противоположной стене стекла на портретах не то членов политбюро, не то героев гражданской войны, злорадно сказал:

— Коммунисты грёбанные! Только людям жить не дают. Так им и надо с ихним Сталиным. Правильно это батька тогда после собрания сказал.

Прямо с тряпкой в руках меня перенесло через три ряда парт, и этой мо-

крой, грязной, из грубой мешковины тряпкой я врезала Миньке по расслепанным губам. И ещё, и ещё...

Домой я вернулась с подбитым глазом, но непобеждённая и с открытием, что коммунисты — это мой отец, Иван Волков, дядя Миша Куманьков и другие, а Кудряков только так называется...

Минька победить не смог — ни Любу, ни страну. Но появились другие. Например, подрабатывающий сторожем студент МИФИ Сергей, не считавший зазорным, отметившись на работе, бросить дежурство (и всю свою бригаду) и смыться тихонько домой через пролом в заборе (глава “Мосгорснабсбыт”). Мало того — ещё и презирающий тех, кто сам работал честно и того же требовал от него. “Вытянувшись, скрестив на груди руки и прислонясь к стене у стола, Сергей смахивал на Наполеона у стен Кремля и попой, и надменно-брезгливым выражением лица, и хамским тоном:

— Кому это я объясняться буду? Вам, что ли, плебеи драные?”

Недалеко ушёл от этого “патриция” и институтский друг Любы Толик (глава “Кафе “Дружба”), который, вернувшись в Москву после шести лет жизни в Австрии, заявил в застольном разговоре, что детей “в этой стране” растить нельзя. Почему? Да всё просто: “Я хочу, чтоб у моих детей всё было! Чтоб я мог купить им всё, что они захотят! Почему я — лучший программист Европы — должен жить здесь в нищете!?”

Не на этой ли гнилой почве “колбасной образованщины” произросли многие наши беды? И, в частности, такие “личности”, как “дервенист” (глава “Изборник Святослава”) — школьный учитель биологии, возжелавший не просто получить от родителей своих учеников подношение в виде роскошного, дорогого фолианта, но и доказать свою циничную максиму: “Все — неподкупные, пока их не касается. А коснётся — вся неподкупность слетит, вот увидишь”. Персонаж сей не столь безобиден, как может показаться на первый взгляд: получив отпор, он пустился во все тяжкие, чтобы “защитить своё честное имя”. И — калечил души детей, очарованных его “демократичностью” (совместные перекуры с ребятнёй на заднем дворе школы, пересказы им свеженьких анекдотов с матерками). И — проламывался во власть, уже “демократическую”. Да, у него, как и у Миньки Кудрякова, ничего не вышло. Но в стране, как оказалось, “минек-дервенистов” оказалось не так уж мало — сверху донизу. Их поганая “корытная” философия разъедала страну, калечила души, будила в людях низменное, дикое. Вот очень показательный эпизод: “Люди линяли на глазах. Вполне приличный научный сотрудник с благородным лбом Сократа — наш сосед по даче — вышел из партии и буквально на следующий день передвинул свой забор на наш участок, оттяпав пару жалких квадратных метров. Когда же ему сказали об этом, бегал, как взбесившийся, с топором вдоль забора и, надрываясь, орал:

— Коммуняки, мать вашу! Порублю всех!

Чем кончилось — в стране, не в книге, — мы все хорошо знаем, повторять нет смысла. Но они, “корытники”, “колбасники”, нынче вождельно чавкающие повсюду, в том числе и в литературе, всё равно не победили — ни героиню повествования, ни идею, ни людей, которые этой идеей жили. Понимая это, они пытаются задурить нам голову телевизионными байками о “тоталитаризме”, охмуряют кичем и попсой, подсовывают крапленую литературу. И испытывают животную ненависть ко всякому живому, честному, яркому художественному слову. Представляю, как взъярятся они, доведись им прочесть повествование Любви Ковшовой!

Но что нам до них? Нас другое должно заботить: не канет ли это “житие”, это уверенно и талантливо вышагнувшее за пределы “частного случая” истинно художественное произведение в безвестность, в неги? Ведь книга издана далеконокко от столиц, в Сарове, тираж — 1000 экземпляров, да и эту тысячу в книжных магазинах мы вряд ли увидим.

Талантливых литераторов не так уж мало, но много ли найдется среди них людей, способных на поступок — не только литературный, но социально-значимый, имеющий высокое гражданственное звучание? Любовь Ковшова — в числе этих немногих. Её слово беззащитно и — бесстрашно. Оно пришло в мир не судить нас, но помочь нам остаться людьми. Уберечь от постыдной участи Иванов, не помнящих родства. И грош нам цена, если мы не сможем, не захотим услышать это слово.